

Звездам числа нет.

1. Материя.

– Колычев, ты где?

– Я? Здесь.

– Что решил?

Колычев не слышал, о чём говорили, и на всякий случай пожал плечами.

– Тогда ты будешь в паре..., – командир что-то искал в своих записях.

– В какой паре?

– Приехали! Я уже битых три секунды надрываюсь перед строем, объясняю задачу, а ты тем временем флир..., – он оборвал начатое слово и произнёс другое, наверное, более подходящее с его точки зрения, – любезничаешь с мамзель. Прости, Юль.

Юля сделала круглые глаза и указала на себя пальцем:

– Со мной?

– Поехали, Коль, – Лёньчик подошёл к нему со спины и тихо заговорил, – полюбуемся степью, о жизни поговорим.

– Игонин, ты не шепчи ему, вас здесь-то нельзя оставить: так упоённо стрекочите, как сверчки ночью. А там, вдвоём, вы на метр не вкопаетесь. Ну так что, Колычев, едешь? Правильно! В паре с Гариповым. Игонин – ты слышишь меня? – ты работаешь с Салоповым. С Вовой не наговоришься, хэ!

– Сверчки трещат в тёплые предночные и первые ночные часы, призывая самок, – дал справку Олежик.

Шеренгу шелохнул хохоток.

– А куда ехать-то? – всё-таки решил уточнить Колычев.

– Слушай ещё раз! – командир рисковал сорвать голос. – На двух точках – между ними километра три – роем по одной яме два метра на два метра и два метра в глубину. Экскаватору в тех местах рыть неудобно, и он не сумеет вырыть чисто. Ямы для бетонирования и установки столбов. Требуется поставить четверых бойцов, по два на яму. Получите еду и воду. Так, а Воронова и Зинченко везу на трансформаторную станцию, им ничего не надо.

- От электричества запитаются, - воскликнул кто-то звонко.

- Что за комиссия, Грибоедов, - на лице командира проступила усталость, - быть этих барышень отцом! Так, задача землекопов – выкопать ровные ямы, без сучков и задоринок. Обить изнутри доской и скрепить доски брусочками. Обивать можно грубо, со щелями, но чтобы прочно. После натянуть сверху сетку рабицу. Потом приедут монтажники с вышками и спецоборудованием. Срок исполнения – два с половиной дня, от силы – три. Управитесь раньше – отлично. Но сомневаюсь. Не впишитесь в срок – придётся всем отрядом помогать. Ночуете

там, на объекте, в бытовке. Получите еду и воду. Едем завтра утром в 7-30. Связь, в случае необходимости, по рации. Пользоваться умеете, учили.

– А если у неё батарейки сядут? Она же ещё Берлин брала! – спросил Олежик с заботой в голосе, без ехидства.

– Тогда тебя пошлю. С запасной. Всего 20 кг. Для тебя, Красная шапочка Олег Владимирович, это как корзинку с пирожками отнести.

Девочки прыснули: Олежик весил не более 43-х, 45-ти.

Утром погрузили в истерзанный отрядовский грузовичок с тентом – личный автомобиль командира – две рации, бельё с одеялами и подушками. А также: лопаты, вёдра с верёвками, доски, брусья, гвозди и молотки, рулетки, ломы, топоры и два рулончика металлической сетки, еду, большие фляги воды и маленькие, с чаем. И ещё всяких мелких, но нужных вещей: перчаток, фонарей, аптечек с бинтами, йодом и перекисью водорода. Посуда имелась в тех бытовках, где им предстояло ночевать. Там и раскладушки. Командир сел за руль, четверо добровольцев полезли в кузов. На часах было 7-25.

Студенты начинали просыпаться: открывались настежь окна, на балконах появлялись сонные лица, переговаривались с теми, кто был в комнатах. Студенческий строительный отряд пединститута занимал крайний, четвёртый подъезд панельной пятиэтажки. Дом к тому лету почти весь заселили работниками совхоза. Он стоял в стороне от прочих поселковых строений и бараков, рядом с котельной и гаражом. Из окон двухкомнатной квартиры на пятом этаже, куда поместили Колю с Лёнчиком и ещё семерых ребят, открывалась бескрайняя степь. С четвёртого и третьего её не было видно, заслоняли липы и тополя. Аня Жарова, Соня Янина и Петров, которого по имени никто никогда не звал, уже занимались зарядкой в лесочке, на самодельных снарядах. Вертелись на штанге, махали руками, разминали ноги: одну сгибали в колене и всем корпусом тянулись вперёд, устремив руки к небу, а другую ногу отставляли назад и этим напоминали памятник Мухиной: рабочего и крестьянку. До завтрака оставалось сорок минут.

«Комсомолки и спортсменки, – усмехнулся Коля, – и с ними красавец их Петров. И охота же! Нагрузка у них, значит, несерьёзная». В нём говорило смешанное чувство досады: «И куда это, и зачем едем?»; и превосходства: «Вот мы, да, мы-то едем вкалывать. Нас ждёт такая гимнастика... Позабудешь о гибкости стана».

До первой остановки пылили с воем по укатанной степной дороге минут десять или чуть больше, затем свернули вправо и, осторожно переползая с рытвин на кочки, проехали ещё метров триста-четырееста и остановились у оврага. Деревца и кусты над ним издалека казались зелёным облачком среди равнины, а поближе – небольшим перелеском. Машина поворчала, затем содрогнулась и стихла. Подождали, пока отлетит пыль.

– На дальней станции сойду, травы-ы по пояс..., – командир вылез из кабины и, подойдя к пологу кузова, откинул его. – Чего сидим? Трудиться раздумали? Нет? Ну тогда я в вас не ошибся! Итак, перелёт закончен, просим личный состав международного экипажа, Гарипова Нурдина и Кольчева Николая, сойти на родную землю.

Нурдин заулыбался. Он вообще был очень жизнерадостен и смешлив, и любил анекдоты. Не рассказывать, а слушать. Если анекдот ему нравился, он смеялся долго со стоном и слезами. А в прочем, был удивительно внимательным слушателем. Слушал он всегда очень чутко; и по его лицу многое можно было понять, даже если не видеть и не слышать речи его собеседника: о жалостливом ли рассказывают, или о чём-то суровом, горьком; и есть ли в словах говорящего важный смысл, или он просто так болтает. А сам говорил мало. И только по делу. Может быть, стеснялся своего русского. Но, скорее, по врождённой склонности собирать более, чем расточать, что говорило, по мнению Коли, о задатках мудрости.

– Разгружаемся, – приказал командир, – Лёня, Вова, помогайте. Несём всё в бытовочку, вон туда, видите, за кустами.

Бытовка стояла в тени берёзок. «Иначе бы она давно расплавилась на солнце, на открытом-то месте», – решил Коля. Он не предполагал, что она и в тени так раскалялась за день, что до рассвета в ней держалось тепло даже при открытых окне и двери.

– Копаем на переходе склона к ровной поверхности, там отмечено колышками, и почва более-менее. В поле твёрдая, а там податливая, но с корнями. Линия связи здесь пойдёт по прямой, это важно. На дне оврага ручей, сейчас мелковатый уже, и в двух местах – где тропинка, вон там, видите, и ещё слева, шагах в двадцати от неё, увидите сами – два брода, две полосы песка. Так и захочется перейти, но осторожнее, песок зыбкий. Я бы переносил весь нужный инструмент там, где нормальный ручей: просто передавать будете друг другу. Глубже, чем по колено, здесь нигде нет. Где вода течёт, там хорошо – там дно каменистое, под ногами не поплывёт.

Колычев слушал как-то рассеянно: зачем ему все эти подробности, особенно про эту прямую линию, которая важна? Сказано копать, будем копать. Но и не желая, он всё-таки запоминал сказанное. А командир по его лицу понял, что лучше говорить не с ним, а с Нурдином, и про места перехода через ручей уже объяснял одному Нурдину.

Лёню с Вовой он повёз дальше, в объезд. Работать они будут в трёх км. от Колычева с Гариповым, но добираться им до места ещё целых полчаса.

Поели на скорую руку: по два варёных яйца, одному плавленому сырку, и запили очень сладким чаем, из алюминиевой фляги. В первую очередь надо было доесть этот паёк: из столовой взяли совсем немного, только на первый раз. А с обеда придётся уже самим варить, на костре: картошку, или макароны, или кашу из брикетов. Или же есть одно сухое – печенье, пряники, пастилу и запивать водой или остывшим чаем. А можно и вскипятить. Краснодарского чая второго сорта, с привкусом банного веника, и настоящего кускового сахара из сельпо – твёрдых белых камешков разной величины – у них было как раз на три-четыре дня. Но если решат что-нибудь варить, то Нурдин соорудит кострище, он всё такое отлично умеет.

Началась работа. Коля принялся бодро, даже с рвением.

– Пузырь будет, – Нурдин кивнул на Колину правую руку. – Перчатки принесу.

И прежде, чем Коля сообразил, уже бежал вниз. Плеснул ручей и затрещали ветки на противоположном склоне. Вскоре вернулся. Чтобы Коле не было обидно, себе тоже принёс. Работали молча. «Как там у классика? – Коле что-то смутно вспоминалось. – Рука, что мало трудится, чувствительней всего!» Он вскоре почувствовал, что неплохо было бы передохнуть. Но сказать об этом медлил. И чем больше думал о передышке, тем труднее становилось копать. А может, земля пошла другая, тяжёлая, глинистая. Нурдин копал чётко и упруго, и при этом что-то напевал: воткнёт штык, надавит ногой, погрузит полотно до середины, слегка наклонит к себе черенок, подденет ком земли и бросит налево; и снова, штык, нога, наклон... «Как будто неживой», – Коля поглядывал на него и в нём росло странное что-то: и раздражение, и обида на командира. Неужели командир забыл, когда ставил его в паре с Гариповым, как три недели назад он попал в медпункт, в поселковый двухкочный стационар, после того, как они носили кирпичи на носилках. Нурдин чуть не по пятьдесят-шестьдесят штук хотел сначала грузить для одной ходки. Первые такие вот носилки, пятьдесят с лишним, отнесли – аж ручки похрустывали. Николай настоял, чтобы не больше тридцати. Носили под палящим солнцем, да ещё так шустро, будто торопились куда. И в конце дня Николай почувствовал озноб, и Нурдин же его в медпункт проводил. Температура поднялась до 37-ми и шести. Фельдшерица там – мать родная, большая такая, веснушчатая. Дышит спокойствием. Посмотрела на него:

– Да ничего страшного, – говорит, – отдохни, ты не привычный. Всё с книжками, с газетами. Я тоже люблю. Зачитаюсь, так муж ругается. Вот те и коечка твоя, всё чистенько, спи себе да и спи.

Пролежал в тихой белой комнате два дня. Принесла утром, в восьмом часу, почти тёплого молока после дойки, и оладейков на солнечном масле.

– На каком? – Коле показалось, что он ослышался.

– А! – обрадовалась она. – Бабушка так звала, маслице солнечное. Да это то же самое, из подсолнухов.

Нурдин в обед пришёл с клубникой. Принёс целую корзинку, уже отобранную, в вощёной бумаге (в магазине выпросил) – и одна к одной – и даже мытая. «Знает, что я невытую не ем. Сто процентов, что сам вымыл. Никому не доверит». Николай уговорил его оставить ему только немного. Остальное отнести в отряд. Нурдин парень без ужимок, взял и унёс.

Николай заметил, что за прошедший месяц окреп. И, конечно, сильно загорел, стал как печёная картошка в золе. До выносливости Нурдина ему было далеко: тот однажды, на спор, посадил двух девчонок, Анучину и Кравченко, одну на правую руку, другую на левую – маленьких деток так носят – и побежал с ними вокруг футбольной площадки. Девочки подняли страшный визг, а он всё-таки пробежал с ними ещё метров тридцать и очень бережно опустил их на травку. Но Колычев и не стремился к такой славе. Мускулы в последнее время не вызывали у него зависти. Если он на что-то и смотрел с удивлением и почтением, то на блестящий ум, проявляющий себя остро и красиво. А если тосковал, то по успеху у прекрасного пола. Здесь он был несомненный неудачник. «А как я ему скажу, что у меня уже сил нет?» Нурдин не курил, а Коля изредка баловался. На

такой жаре курить, разумеется, не хотелось, но иной возможности остановиться не было, и он решительно объявил перекур.

– Лицо водой пойдём? – спросил Нурдин, положил лопату и сбежал вниз, к ручью. Коля закурил для вида и с сигаретой спустился за Нурдином, вдыхая полной грудью прохладу от ручья и густых зарослей по его берегам. Нурдин погружал ладони лодочкой в воду и обтирал себя по пояс, кряхтя от удовольствия. Коля постоял, выпустил, не затягиваясь, для вида только, клуб дыма, бросил дымящуюся сигарету на землю и хотел придавить окурочок ботинком, но Нурдин заметил и закричал:

– Э-э, не делай, я банку принесу, туда будешь.

До обеда Колычев кое-как дожил. Есть ему не хотелось совершенно, но выпил бы он, как ему мечталось, целую канистру воды.

– Морковь есть, картошка есть, пшено есть, лук есть, масло есть, соль есть – перечислял Нурдин, когда они шли к бытовке. – Похлёб варю?

– Что?

– Похлёб.

– А, похлёбку, – Коля еле плёлся за товарищем. – Да ты что, это целая история! Костёр разводить, чистить, варить, потом ещё стынуть будет...

– Зачем история? Два раза съедим – в обед и ужин. Бери ведро, собирай камень, вот такой.

Нурдин показал, какие камни пойдут для кострища. Колычев обречённо взял ведро и вернулся к ручью. «Набрать мало, стыдно, – рассуждал он. – Два раза схожу». Когда он вернулся, увидел, что Нурдин успел снять дёрн и выкопать круглую неглубокую ямку. Он забрал у Коли ведро, высыпал камни и стал выкладывать из них бордюры по периметру. Колычев сходил за камнями ещё раз, и когда снова поднялся, костерок уже потрескивал, а Нурдин готовился чистить овощи. Нашёл чистую дощечку, разложил морковь, приготовил кастрюлю для полоскания и отправил Николая за водой. В маленьких хлопотах суп сварился незаметно, без всякой истории. Ели из деревянных плошек деревянными ложками: в шкафчике, в бытовке, были ещё и алюминиевые миски, и обыкновенные тарелки. Коля выбрал неглубокую деревянную плошечку, и очень пожалел: ему так понравился похлёб, что он попросил бы и добавки, но Нурдин быстро отнёс недоеденный обед в бытовку, на ужин. Там накрыл котелок разделочной дощечкой и сверху положил гладкий камень, похожий на кулак. А в чистом котелке вскипятили воду из ручья, заварили чай с мятой и чабрецом. На всём небе не было ни облачка, иногда прилетал жаркий душистый ветер – настоящий степной, так оценивал его Колычев. «Под деревьями жить можно. А ноги, ну естественно, если обращать на них внимание, гудят, и спина ноет, и в ушах что-то жужжит, а ветки с листочками помавают. Вздремни, мол». Коля растянулся на траве и мгновенно заснул. Нурдин окликнул его минут через пятнадцать.

По пути к своей яме умыли в ручье лицо и шею. Коля в следующие два часа не вспоминал об усталости, а когда спина снова заныла, и между большим пальцем правой руки и указательным всё-таки начал набухать пузырь, а они к тому времени углубились по пояс, он подумал: «А наши ровесники рыли всю

войну окопы. И в зной, и под ливнями, и на морозе? Это в каких-то воспоминаниях, а в каких? Не помню. Там он писал, что война – это огромная землекопная работа, одной земли солдат перелопачивал холмы! Но над ними ещё и пули свистели, снаряды рыли землю. А мы похлёб трескаем в тенёчке, душистый чай ещё, с пастилой. А после ещё подремлем, а вокруг так тихо, только шмели гудят... У меня есть совесть?» Он даже хотел плюнуть, но этой привычки не имел. Сжал зубы и стал копать с остервенением, ругаясь и на свою спину, и на нежные руки.

– Нурдин, а если мы раньше закончим?

– Пойду пешком, сестрам помочь.

«Вот, пожалуйста. Небольшая такая разница между нами. Он сёстрам помогать, а я-то, я, о чём размечтался?» Коля, копая и носясь мыслями всюду, успел придумать, как он в ожидании машины, если они всё выкопают хоть немного до назначенного времени, будет лежать у ручья на раскладушке – принесёт её нарочно из бытовки – и читать. Он взял пару книг. Или просто, глядя в безоблачное небо, воображать, думать. О будущем, разумеется. О том, как он когда-нибудь постарается изо всех сил, приобретя опыт, искусство, сочинить что-нибудь такое, в чём выскажется вся его острая и нежная любовь к жизни. Не для славы, пытался он себя уверить, а от невозможности копить в себе. «И вот, пожалуйста: познай самого себя! Он о сёстрах – я о себе. Да-а, разные люди! Они какие-то более цельные, что ли? У них сплочённость. Их мало, и они все держатся друг за друга. А мы? Мы тоже держимся, но как-то по-другому. Если и держимся, то как бы стыдись. А почему? Может быть, от неврастенического самолюбия? Много причин. И лень, и наша история – сколько лучших людей погибло. К тому же нас много, и земля огромна. Но взять в отдельности человека, отвлечь его от всяких не им лично приобретённых достоинств, и выяснится, что он не очень-то изменился с той поры, когда был маленьким, зависимым от взрослых, доверчивым, чистым».

2. Сознание.

А где они сейчас? Николай, Нурдин, Леонид, Владимир? Юлечка, Наташа и Аня? Где командир? Самое главное – где мысли и чувства, которые когда-то их наполняли? Странно. Ну хорошо: кто-то из них что-то записал. Или один другому рассказал когда-то у костра, или дед внуку, или попутчик попутчику, в задушевной беседе. Но это же бледная тень того, что открывалось и виделось человеку. Что тонко переживал он в глубине души, в один миг охватывая бескрайний мир. Навсегда исчезло? Нет? А тогда где?

Оно где-то есть. Точно есть. И пребывает в таком состоянии, для которого место и время подобны почтовому адресу или номеру телефона. То и другое – всего лишь полезные вещи, средства. На них отзывается жизнь, и не сама она, а воспоминание о ней. А сама она до поры запечатана.

Конец июля или начало августа 1979 года, а может 78-го, Воронежская область, Богучарский район, степь. Какой точно был год, спросить не у кого. И не нужно. Сейчас эти двое землекопов видятся как будто издали, то есть на

расстоянии времени, и ещё откуда-то сверху. На краю оврага копошатся две блестящие от пота фигурки. Проявленные на солнце. Один, сутулый, коренастый, в брюках, бывших когда-то серыми, на его большой пышноволосой голове детская панамка, а на ногах ботинки на толстой подошве. Другой, тёмно-коричневый, жилистый, в лёгких летних штанах, закатанных выше колен, на затылке вытертая тубетейка, на ногах сандалии. Этот другой, конечно, Нурдин. Он из Самарканда. А тот, что в панамке, москвич. Между собой в эти часы они почти не говорят. А в головах у них, понятно, время от времени, приливами, поднимается быстрая речь, они с кем-то спорят, в памяти бегут картинки, в груди горят чувства. Потом всё стихает, и перед глазами только лопата, упор, ком земли и бросок. Вот они углубились по пояс. Вот уже их плечи сравнялись с уровнем земли. Всё. Теперь один нагружает ведро, а другой поднимает его на толстой верёвке и вываливает землю на кучу. Родились они в один год, росли далеко друг от друга, набирались впечатлений от жизни и... встретились. Непохожие ребята. И ещё какие похожие! Живут в одном мире, в одно время, работают вместе, подчиняются и в отряде, и в государстве одним правилам жизни. Но каждый вырос в своей среде. Как-то они друг на друга, несомненно, повлияют; чем-то друг друга дополнят, изменят.

Нурдин закончил третий курс филологического факультета пединститута. После первого и второго ездил на родину, а вот после третьего отправили в стройотряд. Человек пятьдесят из Узбекистана, специальным отделением, учились на филфаке, по десять на курсе. По возвращении к себе в республику они станут учителями русского языка и литературы. Помимо общих предметов им преподавали историю арабской литературы и своей национальной. Девочек на отделении было более сорока, а молодых людей пять или шесть. В стройотряде Нурдин был единственным мужчиной среди восьми своих землячек, и он опекал их словно любящий старший брат, почти отец.

«Нурдин-то к сёстрам. А Салопов будет доску к доске пригонять. Как там сейчас Лёнька? – Коля вообразил друга в похожей яме. – Вова у него вместо Нурдина. Тоже молчун-экскаватор. А Наташа Лёньчику сейчас письма пишет. Он вернётся в отряд, а она ему сразу листочков десять. Исповедь души в разлуке. А чего я язвлю? А того я язвлю, что хотелось бы самому получать. И чего-то у них всё неровно. Он, наверно, её не любит. А она, чего бы ни сказал ей, подуется пол дня и сама под ноги попадётся. Редкая девушка! Если бы... Что говорить! Говорил себе, не трави душу, у вас, сударь, ноль шансов. Всё, надо переключиться. Обязательно кем-нибудь увлекусь, и всегда безответно. Она, вроде бы, уважает меня даже немного, за ум. Но это что? Я что, репетитор?

Наш разговор тогда... Комсомольское собрание и длинный доклад про опять двадцать пять – плешь проели: «Что первично..?» Это мы после этой тупости гуляли? Да-да, уже было часов девять, или десять, смеркалось. Смеркалось, значит, девять. Мы обсуждали. Нам с Лёньчиком понятно, и вдруг Наташа: а правда, что первично? То есть она видит, что нас от всей этой лабуды колбасит, и согласна с нами, наверно. Может, хотела, чтобы именно Лёнька ей всё сказал. А он не в настроении был. Это точно. Потому что когда спокойно, тогда и мысли ясные. Лёньчик чего-то буркнул, и на меня посмотрел, а я и не хотел казаться

умным. В общем, нужных слов не нашёл. Разволновался ни с того, ни с сего, в голове какой-то сумбур.

Ну, типа, что если физико-химические процессы рожают мысли, переживания и прочее, то это, во-первых, серо и тоскливо; во-вторых, аморально, потому что оправдание всякого безразличия или жестокого поступка. Почему? Ну если совесть, жалость рождаются из соединения химических элементов, то ведь можно обойтись и без личности – в колбе получить какую-нибудь микстуру нежности, и в колбе раствор зверства. А на человеке никакой ответственности: он потому убил, что сошлись в нём аш хлор четыре и магний натрий пять, и взболтала их вместе какая-нибудь электромагнитная волна. И нечего прятаться за миллиарды лет! Вопрос принципиальный: может из химии с физикой возникать человечность, героизм, материнство, или нет? Или принципиально это разные миры. Мир тяжести, и мир прозрачной силы? Кого я люблю, химию в голове и в сердце другого человека? С кем говорю по душам? С химией? А мне Лёнька: чего ты на химию? А я: да чихать мне на неё. Тут я его взбодрил, дал возможность поострить немножко: если ты на неё чихнёшь, она не заметит; а если она на тебя каким-нибудь комбинатиком – у тебя все волосики повыпадают. А Наташе нравится, она смеётся. Ей всё нравится, что он говорит. А я: да что волосики, у нас у всех зубы от хлорки выпали бы скоро. Хорошо, Галина потребовала. А он: а я вам всем про то же говорил, меня не слушали».

Николай имел в виду прошлое собрание отряда, на которое приглашали прораба и мастера. Обсуждали планы, сроки, а быт не трогали. В отряде все были всем довольны, но одно неудобство, более нравственное, чем бытовое, существовало. Воду в их подьезды подавали утром на два часа, и вечером на час. А в другое время суток нуждам студентов служили три дощатых туалета, стоявших на пустыре метрах в двухстах от дома. Три в ряд, бок в бок, из тонких дощечек. Один - для двадцати восьми молодых людей, и два - для шестидесяти девушек. Туда, не экономя, сыпали хлорку - всюду, и на пол, и в отверстия, так что глаза раздирало через минуту пребывания. Вот Галина взяла слово и своим густым голосом, своим контральто начала выговаривать: мол, принимающая сторона брала обязательства, и продолжает обещать, а вот уже три недели прошло, и никакого движения. И она вынуждена поставить вопрос на собрании с занесением в протокол. Потому что это неуважение к людям и наплевательство! Она комиссар отряда, тоже начальство.

На этот раз послушались её. Всего за неделю в другом месте совхоз вырыл яму и поставил три уборных для женской половины, и уличный закрытый душ. «Надо же, - удивлялся Коля, - Галя Вайнтрауб, а поёт Русланову, и всякие русские романсы. Наполовину еврейка, наполовину венгерка. В Москве Русланову куплю. Раньше не нравилась: ну, валенки, ну и что такого! А мама любит. Мама ещё и романсы любит. Галька шикарно подражает. Широкоплечая, кулак больше моего, ходит стремительно, говорит низким голосом, и друзья вокруг неё выются облаком. Осенью за Игоря Бурмистрова выходит. Неделю назад, в воскресенье, да, вечером, играла на гитаре и пела у нашего подьезда. «Он на коня садился, умча-лся милый вдаль, - как затянула «умчался», мурашки по коже, и эхо в ближнем лесочке - оставил мне на сердце тоску лишь да печаль». А потом это

ещё: «Ах очи, очи голубые, вы иссушили молодца, зачем, о люди, люди злые, вы нам разрознили сердца?» И тоже, прям сердце колет, про злых людей. Надо Русланову послушать, как это у неё, вот это место. А народ из подъездов как наплыл! И из посёлка пришли, из ближнего барака уж точно, я их знаю. Прям такая небольшая толпа образовалась. Стояли все, как замороженные, а пожилые так вообще плакали. Три раза «По Муромской» повторяла, очень просили. Концерт! А командир её постоянно подкалывает, что-то он к ней имеет. Серёжку выделяет...»

Николай одёрнул себя: старался не сравнивать отрядников. Всегда потом на душе становилось гадко и неловко перед теми, кого про себя принижал. Он знал – из собственного опыта, - что пройдёт время, и о каждом, только лишь вспомнит, подумает как-нибудь тепло. Будет скучать.

«Так, а о чём я ещё с Лёньчиком и Наташей говорил-то? А! Ну ясно, не в химии дело. Мы о материи. Об аристотелевском корабельном лесе. О соснах. О стройматериале, из которого сделано всё, что твёрдо и тяжело, короче, всё построенное. Но кем? Вы же всякие космологические аргументы прекрасно знаете! Не стоит тратить время. Говорю, а сам обращаюсь не к Лёньке, понятно, а к Наташе. Лёнька-то всё знает. Ну что сам мир своим совершенством говорит о великом и непостижимом законе жизни. Но он почему-то бросился её прикрывать, как в бою. А я на неё и не нападал. Он, мол, со мной во всём согласен: ну что материя ни миллион лет назад, ни через миллион лет живого родить не могла и не сможет, потому что – или она вообще-то, на минуточку, живая, если, то есть, может рожать живое; или не родит и не рождала, потому что мёртвое не рождает. Это, мол, ежу понятно. Но вот они скажут: а как мысль ваша, эта ваша знаменитая мысль рождает материю? Кто это видел хоть раз? Вот растут деревья. Они живые?»

– Да, – отвечаю, – но в очень ограниченном смысле: бессознательно живые.

– А человек? – и ухмылка на лице, и ясно, что это он перед Наташей выступает; мы с ним разногласий по всем этим вещам не имели. – Две клетки соединились, – острит Лёньчик, – и пошла писать губерния, и вот на тебе – вырос дядя.

– А человек, – отвечаю я (мне кажется, спокойно отвечал и терпеливо), – сознательно живой.

Да, именно сознательно. Я как раз это старался подчеркнуть. Через берёзы всех эпох веет, проходит одна энергия берёзовости. Через крыс – Наташа нахмурилась – одна энергия крысиности. Выросло деревце, пошелестело ветками, и рассыпалась, или в костре сгорело. Где оно? Нету. Потому что не сознаёт себя. И при жизни, когда берёза каждый год покрывается листочками и серёжками и сбрасывает семена – берёза не может стать не берёзой, выбрать противное своей природе. И тем более по смерти: её вообще, ну совершенно уже нет. Она, родившись, не выбирает, но существует. Всё живое продолжает то же самое, от чего произошло. Человек не превращается в обезьяну, и не возвращается в две начальные клетки. Да, как физическое тело, материальное явление, он катится по рельсам; выбора нет, кроме здорового или нездорового образа жизни. Но он ещё как выбирает по самому большому счёту – сознания. Самосознания. Знаю-знаю,

сплошь и рядом становится зверем, откатывается? Метафорически. Одним словом, берёза не видит, не знает себя бессмертной. А человек? Видит себя во вселенной, в голове и сердце его – вечность, беспредельность, далёкие и близкие предки и необъятные надежды. Он продолжает свой род, и в любом человеке присутствуют невидимо все его предки и даже, что трудно представить – вероятность всех потомков. Он может оправдать своих родителей и прародителей, и помочь своим неизвестным детям и внукам. Он невообразимо больше себя самого».

Наташа сказала, что уже потеряла мысль. Чтобы Колычев объяснял короче... И вообще, пора спать, напомнила она, поздно. Лёнька на этот раз защитил Колю: «Ну дай ты сказать человеку!»

«А чего человеку говорить? Тут скорее чувствовать нужно. Ну что говорить глухому? Ага, Наташа нахмурилась и в первый раз за этот вечер собралась обидеться. Я как закричу, спохватившись, что это из Библии: мол, глаза есть, но не видят, и уши вроде нормальные, но не слышат. Это не про нас, – поспешил всем польстить. А что делать? Надо. Для меня ответ один: материя тает как дымка, а мысль даже не первична, но постоянна, величественна, она парит над всем и всё изнутри освещает. Мы ею дышим, она и окружает нас, и греет. И как мимолётна и ненадёжна всякая материальная, всякая физическая жизнь! Трах, бах, камень упал, машина сбила, сосудик лопнул (мой дед у нас на глазах, разговаривал с нами вот минуту назад, вдруг повалился набок со стула, часто задышал, один раз хрипло выдохнул, и умер). И хотя мы видим как будто немало, но догадываемся ещё и о неизмеримо большем. И вот когда, неожиданно, без наших заслуг, в один прекрасный час чуть-чуть яснее замисел обо всём, тогда на душе сразу становится спокойно, тогда она чувствует себя защищённой».

– А тебе кто-то угрожает? – спрашивает Наташа.

– Да, – строго сказал Коля.

– Кто?

– Вот этот самый материальный, безжалостный мир. Смерть, наконец, мысль о непоправимости, тьма и растущее отчаяние, холодная рука моей, не чужой, а моей собственной физиологии, этой моей уникальной материи, которая хватя меня за горло, и порвёт все связи, и навсегда разлучит меня со всеми!

– Страшно, – согласилась Наташа. – А красиво у тебя всё это выходит. Художественно. В жизни, обычно, проще, неприглядно обычно бывает, ну как-то прозаично или жёстко. Колычев – ты поэт. Если бы ты был другой, или, как сказать точнее, если бы здесь не было другого человека – она еле заметно повела головой в сторону задумавшегося о чём-то Лёньчика – то я бы чего доброго....

– Пожалуйста, я не против, – очнулся Лёньчик.

– А что ты злишься? – вспыхнула Наташа.

– Было б из-за чего! Николай – башка!

– Я пошёл, – сказал Колычев.

– Чего ты вдруг? – Лёньчик вроде искренно удивился.

– Да вот того! Вы меня разбираете, как товар. Выясняйте отношения с глазу на глаз, как поступают воспитанные люди.

– А воспитанные люди таких замечаний о невоспитанности собеседников им в лицо тоже не делают, – Наташа решила, в конце концов, обидеться, потому что пошла быстро по дороге к посёлку. Стройная, шея тонкая, а хвост с плеча на плечо туда-сюда.

– Слушай, – прошипел Лёньчик, – чего ты нас всё воспитываешь?

Все, короче, рассорились.

«Ничего, – вздохнул Колычев, – утром Лёнька встанет как ни в чём не бывало. Ему, я так понимаю, и интересно поговорить о всяких серьёзных вещах, но при этом он как-то не придаёт им последнего, предельного значения. А Наташа только и будет ждать, что он ей крикнет «привет».

А вдруг она захочет лучше узнать, что я ещё думаю. Подумает: интересно мы говорили, и захочет ещё. Случается такое, что человек становится вдруг по-настоящему интересен? Своим внутренним миром. С кем-то, может, и случается. Не со мной. А я хожу по кругу, и события моей судьбы ничему меня не учат. Ну и когда же я поумнею? К старости? Обыкновенный упрямый идиот. Научиться управлять своими чувствами! Владеть собой! Как? Надо иметь цель. Надо достичь такого в жизни, чтобы они все сами к тебе потянулись. Чтобы они сказали: а мы-то как долго его не замечали, а он вон какой оказался человек. Вот!

Болезнь прямо какая-то – влюбчивость. И ещё зависимость от авторитетов. В четвёртом классе думал о Кате. После каникул даже удивился, что так о ней переживал. Просто вспомнил, что она нравилась, и удивился. Или если вдруг знающий человек встретится, то я мгновенно кролик, лишаюсь дара речи. В гости пришёл к нам Евгений Андреич, так я даже заикаться начал, когда он меня спросил о том, что я читаю.

Как я страдал по Тане! В десятом классе. Она это видела. И Алёна её, приживальщица глупая, так презрительно надо мной надсмехалась. Но она сама – никогда. Правда, однажды, то ли на Последнем звонке – или это было в другой раз? – я пригласил её на танец, а она, конечно, ждала, что подойдёт Боря, и лицо её сделалось скучным. Нет, мне не стало обидно. Конечно, я её идеализировал. Мечтал спасти её от каких-нибудь хулиганов или, если потребуется, навещать в больнице. Все забудут, а я один останусь верным. Я выдумывал целые истории. Например, она позвала бы проводить её ночью, откуда-нибудь с дачи, где бы мы случайно встретились у друзей. И нас бы остановили местные, попросили б закурить. Слово за слово, мне бы рубашку порвали, и я уже готов был умереть, драться до последнего, но не дать её в обиду, а тут откуда ни возьмись – милицейский патруль. Они бы все убежали, а Таня бы... Она бы в первый раз взглянула на меня серьёзно и с благодарностью. Посмотрела бы на меня внимательно, как будто бы, наконец-то, узнала, поняла. Или как-нибудь попросила бы отвезти что-нибудь тяжёлое и важное, безотлагательно, срочно и совсем далеко. О, я бы не раздумывая! Неужели можешь? – не поверила бы она. Ну Тань, это же ты просишь. А твоё слово... И тогда бы она поняла, ну хоть на этот раз, кто ей настоящий и преданный друг. Я вообще считаю, что отношения могут быть только возвышенными, рыцарскими. Потому что девушка может быть только чистой, совершенно прекрасной. И хотя она живёт рядом, на земле, но все мысли её и понятия её – они должны быть без порока, легки, почти прозрачны,

воздушны. Даже как-то странно и трогательно, что она умеет суп варить, или задачки по алгебре решать. Это её дань земному. Но она нездешняя. Вот так раньше и было, и так должно быть всегда. Пусть где-то другие отношения. И даже если нечистота, болезнь расползётся и попытается во всё проникнуть – нет, до высокого ей ни за что не дотянуться. Но высокое может исчезнуть из поля зрения и тех, кто о нём мечтает, оно может покинуть наш мир! И родятся новые люди, а им уже никто о нём не расскажет и его не покажет. Это страшнее всякого безобразия! Поэтому мы должны его оберегать. Юноша, мужчина, призван защищать чистоту, просто вставать стеной за невинность, за тонкий свет в прекрасном, ранимом создании, которое нуждается в его покровительстве и чистой любви.

А вот теперь школа далеко, и образ Тани померк, как-то стёрся в памяти. То есть, что же получается? С глаз долой... Данте такое бы себе не позволил. Он и не позволил. Он – неизменная звезда верности. А тут каких-то три недели в ССО, и теперь уже другая, теперь Наташа из головы не выходит. Какой же всё-таки всё это стыд. Я её знаю целых два года. Здесь только что если разглядел получше. Неужели, окажись я в другом отряде, у меня сейчас ныло бы сердце о новой, о другой девушке? Уу-жас! Так нельзя. Я сейчас назло буду вспоминать только Таню. Или нет! Тогда уж никого. Если я защита, то как же я верчусь, как флюгер?».

Взгляд Колычева в течение всего этого рассуждения был отрешённым, он весь ушёл в себя, но при этом копал упорно и ритмично, как механизм. Окликни его кто-нибудь в тот момент, он не сразу бы понял, о чём спрашивают. Поэтому он и на Нурдина, который что-то говорил ему, посмотрел без мысли. А надо было отпилить проступивший из земли корень, он не позволит доскам пристать более-менее плотно к низкой стороне ямы. К тому же нужно было сколотить маленькую лесенку, чтобы вылезать из ямы. Двуручкой срезали корень, потом Нурдин посадил Николая, Николай вытянул за руку Нурдина: яма к тому часу достигла полутора метров глубины, даже чуть больше. Напилили подходящих досочек для лесенки. Нурдин сколотил её и проверил на прочность: Николай упёрся руками в верхние концы, слегка наклонив лесенку на себя, а Нурдин вскочил двумя ногами на нижнюю перекладину. Выдержала. Опустили лесенку в яму и закрепили её.

После спустились к ручью, умылись и растянулись на траве. Пока лежали, минут десять, Колычев смотрел в белёсое небо, отгонял комара, который садился ему на лоб, и совершенно ни о чём не думал. Он даже подумал: «Надо же, можно так лежать и без сожаления разрешать времени убегать, не наполняя его ни мыслью, ни чувством. Как будто ты начальник товарной станции, или цеха на заводе, и мимо тебя безостановочно проходит вереница вагончиков, а ты должен постоянно в каждый из них что-то насыпать, каждый наполнять своей продукцией. И вот ты естественно собрался отдохнуть, сделать паузу. А вагончики всё кто-то посылает и посылает, и они всё подъезжают и проезжают. Безучастно, равнодушно. Им-то что? Ну не нашлось у начальника, чем загрузить, и ладно. И вот они уходят от тебя вдаль совсем пустыми. Куда уходят, в какую даль? Туманную. А те, что отошли наполненными – где сейчас тот груз? Он

сохраняется или нет? Однозначно – сохраняется. Всё увижу и за всё отвечу. Ваши вагончики? Да, мои. А почему пустые? Пропустил, отдышал. Это ещё полбеды. А вот в этих вагончиках стыд и позор! Тоже ваши? Свалить не на кого. И сказать нечего. И провалился бы сквозь землю – не получится». Николаю стало неприятно и даже страшно об этом думать, и он попытался вспомнить о том, что его волновало совсем недавно. Ведь что-то заботило его всего какой-нибудь час назад? Ах, да: ему хотелось пораньше разделаться с ямой, и он просчитывал по часам этапы работы до самого конца, до укрепления сетки. Зачем? Всё за тем же. Он понимал, что вряд ли сразу же по завершении работы, если останется время до приезда машины, бросится читать или что-нибудь стройное и красивое выдумывать. «Несобранность? Разумеется. На самом деле тривиальная лень, – признался он, – она и здесь ищет чего-нибудь сладенького, ну там прийти в себя после такого изнурительного труда, полежать на спине, помечтать о суете».

– Пошли, что ль? – спросил он. – А то ещё разоспимся.

Нурдин молчал.

– Эй, – Коля поднял голову и посмотрел на товарища. Тот открыл глаза, взглянул ошалело, спросонья.

– Сон, – шепнул он.

– Чего?

– Сон успел. Настоящий: у нас дома, Самарканд, праздник, вся семья и соседи там, у нас на дворе, навруз.

– Хороший сон, – вздохнул сочувственно Коля.

– Ой да, очень хороший. Женщины плясали, бабушка плясала, млядшая сестра лучше всех, сумаляк ели. Знаешь сумаляк?

– Не-а. Вкусно?

– О-о! – Нурдин закатил глаза.

3. Испытание.

Для подъёма вёдер из ямы Нурдин сделал приспособление. Взял запасную лопату и вынул из тулейки гвозди, скреплявшие полотно с черенком. Гладкий черенок положил на угол ямы и концы его прибил к вкопанным в землю брускам. Получился удобный подъёмник для ведра, что-то типа блока, только без втулки. Один внизу нагружает ведро, а напарник тащит его к себе наверх за толстую верёвку, легко скользящую по черенку. Подтягивает груз, наступает двумя ногами на верёвку, затем берётся одной рукой, потом и другой за ручку, приподнимает, подносит к куче и опрокидывает на неё землю, или чёрную, или чаще комья глины с песком, камнями, корешками и даже ракушками.

Солнце зашло, но ещё не стемнело. Решили поднять пару-тройку вёдер и идти ужинать. Нурдин не пожалел земли для последнего ведра, нагрузил его с верхом и прихлопнул лопатой. Николаю поднимать его было тяжело и Нурдин проворно вскарабкался по лесенке, чтобы помочь Коле. Он уже протянул руку к поднятому ведру, но тут неожиданно один крючок ведёрной ручки не выдержал и разогнулся. Ведро сильно качнулось на оставшемся крючке и выскочило из ушка. Ручка повисла на верёвке, а ведро полетело вниз и глухо стукнулось о дно ямы.

Нурдин щёлкнул языком, сказал с досадой что-то по-узбекски, прыгнул вниз и замер.

– Что, ведро расколосось? – спросил Коля. – Я щас: лови верёвку, щас поднимем.

– Э-э, – каким-то странным голосом сказал Нурдин, – не ведро. Нога....

– Так! – скомандовал Коля, сразу сообразив, что с Нурдином беда. – Стой, не шевелись.

Коля осторожно спустился. Нурдин стоял на правой ноге, опершись левой рукой о стену и приподняв левую стопу. Он взглянул на Колю виновато, будто просил прощения за полное ведро и за всё, что из этого получилось. В яме было почти темно. Коля как мог осторожно расшнуровал кед друга и снял с ноги. И при том малом свете, что ещё оставался на дне, можно было различить, что левая ступня Нурдина надулась.

– Ого! Надо быстро наверх, но только тихо, не торопясь. Сейчас разберёмся. Опирайся на меня, слышишь, я подсажу и там выползешь, понял?

Нурдин запрыгал к лестнице, ухватился за верхнюю перекладину, одной рукой подтянулся, другой опёрся на Колино плечо и встал правой стопой на нижнюю ступеньку. Он громко дышал, подтягиваясь и подскакивая вверх, и только когда выползал, застонал, потому что, забывшись, помог себе отёкшей ногой.

Чтобы добраться до вагончика, нужно было сначала спуститься к ручью, переправиться через него, подняться наверх и пройти ещё метров пятьдесят. Самым сложным оказался спуск: земля под ногами осыпалась, и ребята то и дело вынуждены были хвататься за ветки или присаживаться. Коле это было легко, а Нурдин заваливался на правый бок, оберегая левую ногу. Сползти под собственной тяжестью, присев и вытянув большую ногу вперёд, не удалось бы из-за выступавших корней и валунов. В ручье Нурдину стало немного легче – прохладная вода охладила ступню. Коля снял с себя и окунул в ручей футболку, чтобы сделать из неё компресс. Думали, как лучше пройти по скользким камешкам на дне. Сначала хотели двинуться как бы на трёх ногах – Нурдину крепко обхватить Колю за плечи. Попытались, и не получилось. Решили иначе. Коля нашёл корягу, на которую смог бы опираться при переправе, и Нурдину пришлось лечь товарищу на спину. Медленно, но перейти удалось. Когда доковыляли до вагончика, уже совсем стемнело. Зажгли толстую свечу. Нурдин сел на табурет, поднял руками ногу и положил её на раскладушку, подложив под голень подушку. Коля плавно опустил на ступню мокрую футболку. Открыл чемоданчик с рацией и включил её, действуя строго по инструкции. Рация не реагировала. Подёргал антенну – безрезультатно. «Ну и что делать? Это как всегда, а по-другому и быть не могло! Что за страна такая? – Колычев расвирепел, но виду не показал. – Чего они думали-то..? Вот так мы и воевали! Десять раз, десять раз надо было с вечера проверить! Придурок! Почему не включил там? Всё через...» В это время Нурдин, кряхтя и морщась, обматывал свою посиневшую ступню бинтом. Времени терять было нельзя.

– Слышишь? – Коля поднял голову и скосил глаза.

– Что?

– Кажется, машина проехала.

– Да, там дорога, – кивнул Нурдин, – а эта штука, раций, молчит.

Всех сборов было: Николаю надеть чистую футболку, сунуть в карманы по фонарику, а Нурдину положить в холщёвую сумку, из которой Николай вытряхнул на пол картошку, левый кед. Вспомнили о коряге – сейчас она очень даже понадобится. Коля сгонял к ручью и сразу нашёл её, хотя там внизу стусилась такая темнота, что у самых глаз ничего не разглядеть. Двинулись в путь. Поначалу продвигались неплохо: Коля светил Нурдину, тот двумя руками упирал корягу в землю, нащупывал надёжное место и прыгал вперёд. Но один раз не повезло: попал концом в какую-то щель, или норку, опёрся, коряга на треть ушла в глубину, треснула и переломилась. Коля едва успел подхватить Нурдина. Дальше пошли в обнимку: Коля освещал путь фонарём и с тревогой замечал, что батарейки садятся. «Ничего, – успокаивал он себя, – есть ещё целый фонарь, может, до дороги хватит». Первого фонарика хватило как раз до дороги. А дорога и в темноте виднелась отчётливо. Наверное потому, что лежала гладко, посыпанная полосами белого песка. Коля приставил фонарик к часам: было пятнадцать минут двенадцатого. «Неужели от бытовки целый час шли? На машине тогда метров триста, ну от силы пятьсот проехали». Он посмотрел направо и ничего не разглядел, никаких далёких и дрожащих огоньков. Потом пристально налево: и там тоже стояла сплошная непроглядная ночь. «Сверчки эти трещат, или кузнечики, кто их там разберёт, всё самок – вот оно что! – призывают», – вспомнил Коля справку о сверчках как что-то радостное из минувшей, безмятежной жизни. А теперешняя увиделась ему – правда, всего на миг, но зато болезненно остро – равнодушной и жестокой. Все люди сейчас далеко, мир спит, они одни перед наступающей долгой ночью и куда им идти, точно не знают.

– Мне кажется, надо идти налево. Мы тогда ехали, помнишь, всё время прямо, а потом свернули направо. Нет? Не помнишь?

Нурдин смотрел, как казалось в темноте Коле, растерянно.

– Хорошо бы машина проехала.

– Какая машина? – спросил Нурдин.

– Какая... Любая. Мы бы спросили, нас бы подкинули куда-нибудь. Что стоим? Надо идти. Ты обними меня левой вокруг шеи получше, и руку-то опусти вот так, и на правую, – Коля согнул свою правую в локте кулаком вверх, перед Нурдином, – сильней опирайся. Я когда устану, перейду на другую сторону. Немного пройдем, и снова перейду. Тебе левой легче, я знаю. Пока так идём.

– Я тебя совсем загну, – ответил Нурдин, – ты скоро колесом станешь. На колесо руку нельзя опирать.

– Ага, остришь? Значит, товарищ Гарипов, жить будешь!

Ребята повернули налево и медленно направились к посёлку. Николай не ошибся, свернув налево. Посёлок находился именно там, и до него оставалось всего семь с половиной километров. Двигались они со скоростью один километр в час, не быстрее. А вокруг, во все стороны, всё молчало. Малейший звук Коля уловил бы чутко, но кроме ночного стрёкота ничто не наполняло ушей. Через

какое-то время Нурдин устал. С Колиной помощью опустился прямо на дорогу, посидел немного и лёг на спину.

– Тебе чего, плохо? – испугался Коля.

– Нет, не плохо. Ты тоже ложись. Спина прямая – хорошо. Идти долго.

Передохнули и снова пошли. Ночь была совсем тёмной, безлунной. Но фонарик им на дороге не требовался. У одного батарейка села, а второй Коля берёт. Он всё же посветил себе на часы: новый день продолжался уже полчаса, было полпервого. И как назло – ни одной машины, ни мотоцикла, ни, конечно же, пешехода. «Странно, – думал Коля, – как в мире пустынно. Громадная земля, а люди, как оазисы, живут на ней пучками. Сбиваются в стайки, в табунчики, в деревни и города. Поэтому-то, в такой тесноте, и заняты друг другом. Сваливаются в комочки – не расплести. И в суете ни неба не видят, ни прошлого. Только судят. Но ведь судим мы обо всём, исходя из своего положения, находясь в своём времени. Оно для нас самое истинное. Мы утверждаем, что человеку средневековья жить было трудно и страшно, и он был отсталым. Ха, от чего же это он отстал? Может, он был гораздо ближе к теплу и свету, а мы в XX веке ушли уже очень далеко, и привыкли к сумеркам? Или русский крестьянин времён Александра Первого, мол, страдал от нищеты и социальной несправедливости. Может, лучше у человека средневековья спросить, страшно ли ему было, вернее, чего именно он боялся. Ещё на кого нарвёшься – а то какой-нибудь решительный барон голову снесёт мечом. А крестьянина спроси о несправедливости, так он подумает, что чавой-то блажит барин. У господ своё житьё, благородное, чужое, а у нас своё, простое. Крестьянина той поры, сто семьдесят или больше лет назад, ну при Екатерине или Александре, ещё не успели растлить революционеры.

А уж о высоком люди сейчас говорят, только держись! Но они не понимают, о чём говорят. Для нас сейчас самое умное – это наладить свою жизнь здесь и сейчас. Умными считаются хитрые и ловкие, и умеющие приспособливаться. Я психологию эту сдал и забыл, а психологиня, Носова, убеждена, что через тридцать-сорок лет психология станет ведущей естественно-гуманитарной дисциплиной, потому что самолюбие разовьётся до крайних пределов. Это она доверительно, Асе и Свете, которые у неё курсовую писали. А что ж, она права, связь очевидная: сделать так, чтобы тебя не обижали, и чтобы ты, не нарушая уголовных и прочих законов, мог бы обезоруживать соседа, родственника, или вовсе подчинять его себе. И все эти разговоры про правильные грамотные отношения – чушь. Человек – открытая самовлюблённая рана. Он в стае, потому что выгодно, удобно, но нет у него ничего драгоценнее, чем его собственная шкурка и слабое дыхание. А небо там, или прошлое, или что с тобой станет – это вроде как не в первую очередь, не насущно. Роскошь – напрягаться по этому поводу. А надо бы по-другому – а смелости-то нет – надо элементарно себя забывать. Учиться бегать от мзды, от благодарности, известности. Иначе это не жизнь – путы. А что-то важное в жизни, тем временем, проходит. И главное, что увидь, разгляди и полюби я главное, и мне станет по-настоящему хорошо, и другу моему тоже. Другу, который запутался во мне, и в себе, и я в нём, и в своих личных проблемах».

Николай вдруг остановился и замер.

– Или показалось? Ты ничего не слышал? Значит, показалось. Как ты думаешь, что такое чудо?

– Чудо? – Нурдин соображал. – Это.... Когда, ну как сказать, так нельзя быть, а бывает.

– Да, никак не должно, а вот тебе раз и пожалуйста. Но это ты о результате. А внутри себя – или у чуда нет нутра? – что оно, откуда, почему вдруг случается? Оно само по себе живое, или действует от чьего-то имени? На войне, например. Всё, сейчас сто пудов погибнем, и вдруг враг пробегает в метре от тебя и тебя не замечает. Или всё, сейчас замёрзнем в дремучем лесу или утонем в болотах, и вдруг впереди огонёк, или навстречу старичок и раз-раз, и вышли на тропку меж двух каких-нибудь омутов. Может, надо как-то сильно просить?

– Как, кого просить? – не понял Нурдин.

– Как как! Вот чтобы точно, я не знаю. Предполагаю, кажется, иногда догадываюсь, потом сразу и сомнения берут. Но хорошо, а если молчать? Пропадём. Надо сконцентрировать волю и очень хотеть. Тогда к нам притянется сила. Говорить хоть про себя: эй, люди, дожди, солнце, луна, облака, звёзды, хорьки, всякие животные, ветер, который на дорогах, в поле, в городе, всюду; в общем, все-все, кто может слышать и быстро передавать друг другу вести – спасите нас! Если слышите – помогите! Нам срочно нужна помощь! И мы тоже обещаем от всей души, что будем помогать, когда услышим такой крик!

– Правильно! – серьёзно ответил Нурдин.

– Стоп, всё-таки что-то шумит. А? Не слышишь? Опять пропала.

– Машина?

– Ну не барышня же припозднилась! Хотелось бы, чтоб машина.

Справа что-то блеснуло. Как будто луч далёкого неяркого прожектора скользнул по земле. Гудение усилилось. Вскоре стали появляться и исчезать два качающихся глаза, две фары. Наконец стал приближаться грузовичок, по визгливому рёву старенький, сто раз, вероятно, латанный. Николай и Нурдин замахали руками. Заплакали жалобна тормоза, поднялась пыль. Перед ними остановилась цистерна, молоковоз. Скрипнула дверца кабины, спрыгнул знакомый водитель из посёлка. Через день вечерами, после дойки, он возит молоко на завод и возвращается иногда поздно ночью, как в этот раз. Взглянул на ногу Нурдина, покачал головой и сказал просто:

– Ясненько, поехали. Там у меня в кабине ещё Степаныч, но он мушшина убористый. Ты, казак, – обратился он к Николаю, – прости, но ты это, таво, не поместишься. А ты, солдат ранетый, больную ногу Степанычу на коленки ложь! Понял? Мы те щас поможем. Степаныч, – крикнул он мужику в кабине, – давай это, трали-вали..., к рулю тесней, в Богучарово поедем, не ближний свет! Чаво? Куды надо! В районку, пострадавшего везём.

Водитель обещал, как вернётся в посёлок, сообщить командиру о Нурдине.

– А ты-то как? – спросил он участливо Колю. – Мож закурить дать? Я папирос отсыплю. Ну, в посёлок пойдёшь, или где копаете?

Николай ответил, что курить у него есть (он не сказал, что не прихватил с собой – ему совсем не хотелось курить), и что пойдёт он обратно в овраг, и

просил командирю это тоже обязательно передать. Пожал руку водителю, посмотрел в глаза Нурдину и слегка стукнул его кулаком в плечо, как они делали после забитого гола, посадил товарища и кивнул сидящему в глубине кабины старичку Степанычу. Молоковоз со второго раза завёлся, взвыл, развернулся и загудел в район. Николай постоял, глядя ему вслед, дождался, пока уляжется пыль, и пошёл в овраг.

Колычев шёл и вспоминал минувший день. Впечатления всплывали у него в памяти и он сравнил появлявшиеся и исчезающие картинки, обрывки разговоров, мысли с кусочками картошки, морковки и серпиками лука, которые выныривали на поверхность кипящей похлёбки, переворачивались и скрывались.

«Вся жизнь, – думал Коля, – какое-то чередование состояний, взлётов и падений. Вот вынырнула вот именно эта картошка, а не другой ломтик – что это, случайность? Это-то пусть и случайность, а то, что мы съедим и тот кусок, и другой, со дна – это непременно. И все кусочки вертятся и переворачиваются, потому что они в воде, в котелке, и под котелком кипит огонь. Потому что Нурдин всё сделал правильно, и огонь горит правильно. А почему? Потому что мы должны есть. Так уж устроены, такими родились. Очень много на земле нам служит в пищу: растёт, летит ли мимо, бежит, ползёт или плавёт – хватай, режь и ешь. А растёт ли оно, летает или плавает, то это потому, что на земле есть воздух, солнце и вода. Наши лучшие друзья. Среда обитания. А откуда тепло и кислород? От расположения в солнечной системе. Та в другой, в ещё большей системе. Матрёшки. Почему так, а не сумбурно? Или: зачем вот так, а не хаотично? Зачем и для чего вокруг нас во все стороны, насколько зрение достаёт, расстилается порядок, строй, красота? Естествоиспытатель, какой-нибудь там учёный математик, или физик, биолог, астроном скажет, что вопросами, уводящими от исследуемого объекта в область спекулятивную, их науки не озадачиваются. Ну и дуры. Это ведь самое интересное. Мысль не о частности, не об отдельном аспекте бытия, а о целом. Целого жаждет ум! Оно уже во мне, раз я его так страстно хочу и чувствую. И вижу! Конечно же вижу. И не только вокруг, но и в глубине времени. Я не знаю, что сейчас делает какой-нибудь доктор с Нурдином, но знаю, что как только я стал кричать (про себя, конечно), спасите нас, и Нурдин тоже, я его знаю, тоже очень хотел помощи, то тогда приехал молоковоз. А вчера он не ездил. И завтра его тоже не будет. Так и строились города, выигрывались сражения – скрещением судеб. Да, я знаю – пусть кто-то захохочет и постучит пальцем по лбу, - но пересекаются - и ещё как! - линии жизни, случаются удивительные встречи. Литература бледно это отражает. В реальности намного поразительней, но не всегда очевидно. И литература так только... Намекает. И то её часто обвиняют: мол, натянутый сюжет. А если с точки зрения непридуманной жизни посмотреть, то вся история человечества – просто фантастический сюжет. Какая-то безумно смелая и могущественная мысль живёт и радуется во всём, в глубине времени, на всём просторе вселенной. Но иногда, правда, рыдает, видя, как близорукие человечки издеваются над жизнью».

Колычев остановился и прислушался. Тихо. Что он хотел услышать? Где-то ему следовало поворачивать направо. Он стал искать следы трёх ног, включил фонарь, но тот уже еле-еле светил. Следов не нашёл: возможно, ветер расправил

все складки и приметы на полосках дорожного песка, или молоковоз поднял пыль. Колычев прошёл ещё немного вперёд, засомневался, что надо продолжать, и вернулся назад. Он вглядывался в ночь, стараясь приметить их перелесок у оврага, но ничего не мог различить. «Туман наползает, или тучи? Звёзд что-то мало. Тьма. Почти кромешная. Вот она растекается, незаметно, безлунной облачной ночью, тьма, внешняя, а фонарик у меня в руке умирает, и когда он окончательно погаснет, то тьма вытеснит собой всё, заполнит всё. А этого нельзя».

Колычев решил свернуть на удачу. Боясь угодить в какую-нибудь рытвинку, или яму, он иногда прощупывал почву, как слепой, шаря ногой впереди себя. А иногда ступал уверенно. Метров через сто, или двести земля явно стала рыхлой, и его это встревожило. На дороге они с Нурдином выбрались по относительно твёрдому полю, на котором попадались то там, то здесь щели и норки. Сейчас же казалось, что это поле пахали, хотя бы в прошлом году. Но Колычев не повернул назад, а почему-то продолжал упрямо идти. Когда понял, что он прошёл уже намного больше, чем потребовалось бы от дороги до их оврага, тогда только остановился. Неужели идти обратно? Он продвинулся ещё шагов на десять и снова стал напряжённо смотреть: впереди – тьма начинала редеть – он разглядел что-то низкое и широкое. На перелесок оно не было похоже. Колычев направился в сторону этого низкого – темных холмов или, может быть, каких-то построек. «Справа деревья, – отметил он краем глаза, – значит, скорее всего здесь живут. Может деревня?». Через метров сто, за полянкой, ему открылся высокий забор, а за забором угадывалась крыша большого низкого дома и ещё какие-то строения. Нигде ни огонька. Вдруг залаяла густо и низко, словно из бочки, собака, и издали ей ответили другие. «Деревня, – понял Николай. – Ну надо же! Здорово я заблудился.... А как, почему? Вроде бы всё верно.... Нет, свернул, значит, раньше». Коля подошёл ещё ближе, смутно надеясь, что на собачий лай кто-нибудь выйдет, или оттуда крикнут: «Кто там?»

«Ведь кого-то они охраняют? – рассудил Коля. – А мне кричать нельзя, а то собака от ярости разорвётся. Вон уже как зашлась!». Действительно, лай и без Колиного крика поднялся оголтелый, и за забором голосил уже не один пёс, а точно два. И в следующее мгновение Коля услышал, скорее даже догадался по треснувшей доске, что собака пытается пролезть в щель. Сообразив, что медлить нельзя, Коля бросился к деревьям за поляной и едва успел добежать до первого. Схватившись руками за нижний сук, он подтянулся, но ноги его заскользили по стволу и он почувствовал, как что-то влажное коснулось его левой щиколотки. Ни боли, ни иных ощущений он не испытал, но отчаянно, изо всех сил рванулся вверх. И услышал – как будто со стороны, словно всё происходило не с ним – что где-то со свистом разрывается материя. Снизу его овеяла прохлада. Он взлетел в развилину и поджал ноги. Несколько секунд он не шевелился, потом проверил на прочность сук и, убедившись, что сидит крепко и на безопасной высоте, взглянул вниз. Под ним бесновались две собаки: они подпрыгивали, упирались лапами в ствол и прямо захлёбывались от злости. Большая гудела басом и срывалась на хрип, сглатывала слюну, и снова рвалась вверх и редела. А вторая, пониже, с острой мордой, лаяла как заведённая, монотонно и

беспрерывно. Коля ощупал щиколотку: нет, крови нет, ладонь сухая, на пальцах – он поднёс их к глазам – никаких следов.

Он обнял ствол и постарался настроиться на долгое ожидание. «Значит, надо это пережить. Прими и не терзайся. А всё-таки неужели в доме никого? Может, они в посёлке или в городе живут? Или кто-нибудь из деревни услышит? Во попал! Когда ж они охрипнут, гады, чтоб их разорвало! Молоковоз мы встретили, а второго чуда в одну ночь не бывает. По нужде ещё справлюсь, ладно, а дальше-то что? Они ведь ещё других собак зазывают. Матрос на оторвавшейся барже. Эти наши четыре матроса в Тихом океане, которых американцы выловили, им-то было хуже. Главное, не упасть вниз. Буду есть кору и листья, потеряю голос, отращу бороду, потом засохну. Так вот, обниму крепко ствол, привяжу себя к нему, чтобы не упасть, и истлею. Дрейфующий студент в Воронежских полях...». Коля прислушался: «А что? Неплохо. Нормальный трёхстопный ямб. Студент рифмуется с ангажемент, клиент, абсент, тент, привет, атлет. Не то, не то. Так, что ещё? Скелет, бред, след. Во, стоп:

Дрейфующий студент
В Воронежских полях.
Вот кем был тот скелет,
Иссохший в тополях.

Я на каком дереве сажу? Какая разница! На «в полях» идеально откликается на «в тополях».

Собаки умолкли и легли под дерево, положив морды на лапы. Коля попытался устроиться поудобней, потянул на себя небольшую веточку, та оторвалась и он чуть было не потерял равновесие. Собаки вскочили и устроили что-то похожее на истерику. «А может, кидать в них ветки и кусочки коры? Не может быть, что бы никто не услышал и не сказал бы: а чего это там псы неистовствуют? Что-то там наверняка случилось!» Собаки на этот раз скоро перестали яриться, улеглись, но правда на малейший шорох поднимали морды и рычали, ощеривая пасти. Это Коля уже различал, приближающееся утро разбавляло темноту и с каждой минутой деревья вокруг и дом за забором, и телега с отломанным колесом проступали отчётливей. Ему представлялось, что он видит подрагивающие бело-розовые губы большого пса и его крупные, цвета слоновой кости, обнажённые клыки. Он не заметил, как задремал и стал съезжать вниз, но чудом не сорвался. В последний миг он обхватил сук и снова оседлал его. Собаки подустали: они вскочили, но зарычали уже лениво, и тут же успокоились. Добыча не собиралась падать. А Коля рассудил, что надо подстраховаться: он снял с себя ремень, продел его под мышкой, перевязал на плече и попытался пристегнуться к стволу: но ремня не хватило, дырочек оказалось недостаточно. «Попробовать вокруг шеи, что ли? – усмехнулся он. – Хороша была бы смерть. Родным и близким сообщили б: повесился ночью на околице деревни Шутеёзнаевки на собственном ремне. Записки не оставил».

В конце концов, испытав ещё пару вариантов, он туго затянул ремень вокруг ляжки и привязался к отростку большого сука, под монотонное рычание собак. Пока он возился с ремнём, совсем уже рассвело. Коля сознавал, что долго,

привязанный ногой к дереву, он не продержится. Но тут, наконец, что-то скрипнуло: то ли дверь в доме, то ли калитка.

– Будьте добры! – закричал Николай. – Пожалуйста, отгоните собак, я здесь на дереве.

Из калитки вышел мужик, обутый в тяжёлые сапоги, и в майке. Остромордая метнулась к нему и завертелась у ног, а большой пёс степенно пошёл к хозяину, урча и виляя хвостом.

– Чего там? – спросил хмурый мужик у собак.

– Меня собаки на дерево загнали, – пронзительно кричал Коля от волнения, – брюки порвали.

– И чё? Я те чё должен?

– Да нет. Я пойду к себе, просто заблудился.

– Ночью? Не бреши. Собачки ищѐ постерегут тут – Рох! - а я щас за участковым съезжу, мотоцикл заведу.

– Честное слово. Я друга в больницу отправлял, он ногу сломал. Мы здесь недалеко ямы копаем, мы из стройотряда, студенты, из Москвы.

– А-а! Во как! Сволочи вы..., паразиты, – мужик с ненавистью сплюнул. – Вся страна на вас вкалывает, шоб вы там в столицах своих обжирались. А ты к нам в сельпо заходил? А ну говори! Заходил, паразит? Жир видел, спички, и хлеб через день? Поубивать всех вас надо было. А ну давай отсюда..., пока я тебя псами не затравил. Бегом давай!

Коля отвязался от сука, сполз по стволу и быстро пошёл прочь от деревни, не оборачиваясь. Он слышал, как мужик скомандовал собакам «лежать». Ему казалось, что уши его вывернулись назад, он боялся погони: «Что если он пустит их вдогонку, деревья-то вот уже кончаются?» Пройдя шагов двести, Коля услышал за спиной какой-то шум и резко обернулся, готовый сопротивляться, хоть землю кидать, драться до последнего. Но его догоняла немолодая женщина с каким-то мешочком в руке. Она кивала ему и говорила как могла громко, задыхаясь от бега:

– Парень, на-ка, возьми, возьми, не обижайся.

Коля выпрямился. Она подошла к нему, чуть пошатываясь и с трудом переводя дух:

– А тут вот молочко, ещё огурчиков, яблочек, и хлебушка давеча пекла, а вот собрала, что успела. А вот брючина твоя, - она протянула Коле оторванную собакой штанину, – а пришьѐшь, да?

Коля растерялся и спасибо сказал ей уже вслед, её спине - она спешила обратно. Собак нигде не было видно. Он постоял, заглянул в мешок, а потом в первый раз внимательно осмотрел свои ноги: левая штанина его была почти ровно оторвана выше колена. Возвращѐнную брючину он засунул в мешок, положил её на еду.

Затем он вскоре вышел на дорогу, повернул направо и через пять минут пути разглядел вдали свой перелесок. По дороге Николай думал о том, как бы выйти из курьѐзного положения. Решил просто аккуратно отрезать ножом и правую брючину тоже. Ножниц и ниток с иглой в бытовке всё равно не было, а он и пришил бы так, что вышло бы намного смешнее, чем если постараться ровно

отрезать. Получилось бы, может, что-то типа шорт. Он прикидывал, как возьмётся за дело, разложит брюки на полу в вагончике, и с каждым шагом чувствовал растущую лёгкость и благодарность от полученной свободы.

Но когда свернул с дороги к оврагу и пошёл по целине, и повторил весь разговор с хмурым мужиком, то отчётливо, с болью вспомнил случай из своих отроческих лет: он со своей двоюродной сестрой и её мужем, и их близким другом, вчетвером поехали с палаткой на два дня в леса, подступавшие вплотную к каналу имени Москвы. Куда-то за Клязьминское водохранилище. Ему тогда было лет четырнадцать, а всем остальным, студентам, по двадцать. Добрались до места на речной ракете, выбрали прекрасную полянку, развели костёрчик, начали ужинать, и вдруг как снег на голову – несколько семей, которые считали эту красоту и природу своей, и всех гнали со своих полянок и опушек. Люди эти, как выяснилось из перепалки, которая скоро перешла в свирепое матерное наступление с угрозами, были рабочими какого-то московского завода, да к тому же родственниками друг другу. Был среди них и капитан милиции, коренастый мужчина в спортивном костюме, с большим животом и красным круглым лицом. Все они были пьяны, кто сильно, кто немного. Женя, муж тёти, и друг его Толя поначалу какими-то словами их раздразнили. А их одних мужчин было человек десять. Они угрожали избить приехавших и уже порвали Евгению куртку. И тут Женя, как что-то его вдруг напрочь лишило ума, возьми и пригрози им. И два мужика совершенно озверели: заорали чёрным матом с пеной у рта. Но самый ужас исходил от ещё одного, невысокого и сухощавого, который всё молчал. Коля на всю жизнь запомнил его глаза: вроде бы насмешливые, и даже удивлённые, но если вопьются в тебя, то пробирает необъяснимый ужас. И Коле показалось, что в руке у этого молчавшего блеснуло что-то железное. Он подошёл к Евгению почти вплотную и неизвестно, чем бы всё кончилась, если бы из рядов этих местных, откуда-то сзади, не вырвалась наперерез тихому мужичку одна женщина. Маленькая, в брючках, порывистая. Как она всё заметила? Она бросилась как под поезд и в последнюю секунду встала между Женей и тем человеком. Влетела и стала стеной. Раздвинула обоих – упёрла руки в две враждующие груди, и мужчины отступили. Она сразу обернулась к сухощавому человеку и отчётливо, и как-то даже заодно и громко – и все мгновенно замолчали - сказала ему:

– Уголовник, дёрни отсюда. Ты понял? Где твоя жена? А дочь? Отвали по-хорошему, ты же знаешь....

Коля не слышал, что она ещё сказала, он лишь почувствовал, что пик грозы миновал. Сначала вся эта грозная пьяная туча сразу как-то обмякла, а потом, ворча и вяло ругаясь, поползла сквозь кусты на свою поляну. Избавительница просто и по-дружески попросила их скорей уходить, пока её друзья не добавили. До отъезда всего полчаса. О, собрались они тогда вихрем – покидали всё без разбору в рюкзаки, и еле успели на последнюю ракету, шедшую до Речного вокзала. Бежали нагруженные, но как на крыльях, а Женя с Толей ещё и с упакованной палаткой, держа её за лямки. Влетели на палубу в последние минуты, и когда проносились на ракете мимо места их столкновения с разъярённой компанией, то Колю прямо обдало радостью, он погрузился в

сладкое чувство свободы – ему даже не верилось, что ужас и животный страх позади, что они в безопасности, и можно снова громко говорить, шутить, никого не бояться.

«И этот страх ночью, и вот сейчас радость – всё очень похоже, – размышлял Николай. – Мрачный мужик. Тоже что-то бесчеловечное в нём, необъяснимое. Что это такое? Злоба, ад. Толпа рабочих и солдаток растерзала гражданского губернатора, в Твери, кажется. Это всё смертоносный ветер революции! Возмущённый разум рабов. Чьи они рабы-то? Своих желаний. Кипят завистью и ненавистью. Им как воздух нужны враги. Они понимают, что живут плохо, но не знают, что плохо – их душе. А они думают, что душа – это сплясать на праздник, песню спеть, которая это, ну за душу берёт, кино посмотреть. Что ж, это ещё ничего. А в их представлении плохо, значит бедно, мало. Это вечно готовый хворост для революционных пожаров. А что, им тяжело на самом деле? Богат не тот – и повторять-то пресно – у кого много, а кому достаточно. Беден не кому мало, а кому не хватает, сколько ни дай. И мудрым можно стать без сотен книг, но с несколькими. А вот если эти люди сами станут начальниками, то врагами окажутся те, кто вокруг и ниже, и кто самим своим существованием угрожает – в чём они параноидально уверены – их власти и достатку.

И стояла бы тогда над землёй беспросветная ночь. А тут в одном доме, одна семья, бок о бок – и такие разные люди. В одной стране, в целом мире. Мир вот и держится на таких жалостливых. Что я ей? На-ка возьми, не обижайся.

Революция – возвращение звёзд; вернее, мы, совершив вращение, возвращаемся к созерцанию далёких звёзд. Перемены необходимы, без них нельзя, не бывает. И если вот так спрашивать в моей группе, и не будут бояться честно отвечать, то ещё как завопят: ну скорее бы, ну решительней! Обрыдло и задолбало жить в такой серости и идиотизме! И никому ничего не докажешь. Не докажешь, что есть у решительных перемен..., как сказать? Тень, оборотная сторона. Страдание невинных. Скажут, что я плесень и зануда. Что я уже старик, прежде старости. Пусть. А я Каренин – я пелестрадал. В дедушках и бабушках. Я им говорю: да я очень даже за изменения, но только как результат того, что мы поумнели, совершив ещё один круг жизни, прожив ещё год, десять, тридцать лет. Мне кто-то мешает жить? Враньё. В спешке жить невозможно. И потом, если не пускают воду в одно какое-то русло, то она другое найдёт. Не дают богатеть шмотками, машинами – что ж, я уйду в себя. Меня там ждут вещи поинтересней. А взбежавший с шумом наверх, да ещё по головам пусть и ненавистных стражей, и тупых стариков, становится мишенью для тех, кто на этот раз не успел и остался внизу. Но для многих буря и натиск и есть жизнь. Надо же, ищет бури. Ген мятежа. Не важно, против кого, но вечный диссидент. А если кто ищет мира и любви? Нет, ничего не докажешь. Надо учиться жить не этим.

Ира сказала мне, что у меня верхняя часть лица ещё ничего, а нижняя так себе. Я никогда об этом не думал. Не о лице, а что можно так вот взять и сказать: у тебя это красивое, а это некрасивое. Коленная чашечка красивая, а щиколотка так себе. Человек охватывает тебя сразу, целиком, и сам предстаёт живым, а не расчленённым. Не за длину шеи и не за расстояние между зрачками юноша полюбил девушку. Можно всю жизнь что-то исследовать, измерять, вычленять и

анализировать, а знание того организма, по чему муравьём ползает ум, будет как линия горизонта для идущего. А полюбить другого человека – это в один момент постичь всё, и это станет самым дорогим и верным знанием его. Ведь заглянуть даже в тайну физической жизни невозможно, если человека не остановить, не распластать его на операционном столе, или под рентгеном, или не придя к нему мёртвому. Что же говорить о человеке живом, который и ошибётся, или сам на себя наговорит, или замолчит от горя? Вот я, например, ну не родился стройным. Что теперь? Растягивать меня на дыбе? Не-ет, уж как-нибудь так поживу! Уж какой есть! А государственный строй? Да то же самое. Просто физическое, то есть такое видимое, вполне обозримое и описываемое состояние общества на текущий день, то есть в данный момент истории. Вот сейчас общество юное и, значит, горячее; а спустя лет сто-двести уже дряхленькое и дрожит над собой, о здоровье заботится. Ну и пусть себе живёт, старенькое, жалко его. А пересаживать носы и целые головы, если руки чешутся? Ха! После таких операций пациент или умрёт, или выйдет калекой. Кто их может сосчитать, эти щепки от рубки леса? Эти миллионы жертв социальных переворотов? А ведь каждая щепочка – живая. Каждая надеялась, любила, хотела жить. Вождям и отцам народов, что им? Но в результате-то – ещё худшая несправедливость. Лучше не будет – гарантированно хуже, это да. Справедливости нет и не будет, ни при каком строе. Это и папа говорит, и все его друзья. Лучше остаться с шилом, говорит дядя Лёша, или с мылом: а то ни шила, ни мыла. Пусть где-то сейчас сытней, впрочем и разнузданней, а у нас бедно и скованно, но не ради же жратвы живём. Не свиньи!

Тоска по родине... Я люблю её, если только не обманываюсь, но не странную, а какую-то печальной любовью. Или это и есть та самая странная? Я будто в разлуке с ней. Вот мне дорога она невидимая, прошедшая отбор и проверку временем и осевшая в книгах, в партитурах, картинах, в крепостных стенах кремлей, в соборах. Это моя колыбель, другой не будет. А всё что сейчас, на поверхности - это всё чушь и бред, ложь. А то внутреннее, прозрачное, духовное, оно может быть проступит когда-нибудь и станет как-то заметным, но не сейчас, потом. Забрежит сквозь зыбь и горячку этого не стихающего человеческого скандала и пронырства, повседневности, течения будней. Борьбы за место под солнцем. Жить по-настоящему можно только на дне колодца. Да! Мы сейчас тренируемся, роём себе яму. Почему на дне? Очень просто. Потому что оттуда даже в слепящий полдень видны звёзды. И в колодезной воде - в водяном столбе, они отражаются. Как в телескопе. Мой взгляд – и в нём, во взгляде, собирается весь мой ум, и все мои чувства – и из глубокого колодца взгляд пронзает злобу дня и стремительно уносится ввысь. В нём, как в ракете, сидят мои мысли и надежды. И чем ниже старт, то есть чем больше разбег – тем дальше полёт. Чем глубже – тем выше».

Придя к себе и сев на раскладушку, Коля моментально уснул.

Спал он до полудня и очнулся от жары: воздух в бытовке, при закрытой двери и маленькой щёлке в окне, нагрелся нестерпимо. Голова у Николая отяжелела, и что-то стреляло в висках и затылке при резких движениях. Он медленно спустился к ручью, боясь шевелиться, словно нёс на вытянутых руках

до краёв наполненное блюдце. Нашёл укромное местечко, где вода доходила почти до колен, разделся и лёг под воду с головой. Высунулся и снова полежал секунд пять на дне. Стало легче, ручей всё смыл и унёс в далёкую речку: и грязь, и пыль, и головную тяжесть. Потом Коля обедал в тени под берёзками. Прокисший похлёб пришлось вылить, и молоко тоже скисло, и он поел огурцов с недавно испечённым хлебом, и съел два яблока. Пошёл в вагончик искать часы. Нашёл их не сразу, они были под табуреткой, и долго не мог попасть иголкой в дырочку на ремешке. Прежде служившая дырка настолько расширилась от старости, что уже не удерживала иголку. А до другой, ещё целенькой, нужно было дотянуться.

«Дед так вот затягивал на брюках ремень. Один и тот же ремень, рыжий, с потрескавшейся кожей. У него был новый, а он всё экономил, а бабушка ворчала. Всех жалел. Ходил до последнего в одних ботинках. Хороший. Затягивал. Зачем? Брата повесили на ремне, юношу. Каждый день читал Библию и учил по карточкам иностранные слова. Ты чего, зачем тебе? Память – мускул. А я? Бабушка звала балбесом. Он вот говорил...».

Николай уже готов был погрузиться в прошлое, но увидел на полу шнурок от Нурдиного кеда: «Как это он выпал? Надо же. А ведь мне давно уже пора работать! И так всё на свете проспал. Так, что сейчас делать?» Он второпях очень сильно натянул ремешок, и тот оторвался от часов; теперь часам нашлось бы место только в кармане. Или на табуретке. Внезапно Николая пронзила мысль: а вдруг ночью или утром кто-нибудь подходил к оврагу, зазевался, вовремя под ноги не посмотрел и свалился туда? Впрочем, если бы человек, то он бы стонал или кричал. «И я бы, - рассудил Николай, - купаясь, его бы услышал. Да к тому же там лестница осталась. А может быть, лисица или грызун? Волков здесь вроде нет. А если всё-таки человек угодил: упал головой вниз и лежит бездыханный? Вот надо же, выкопали ямку для мамонта».

Николай швырнул огрызок и побежал к яме.

Скатился вниз и взобрался за секунды, за два шага до ямы лёг на землю и подполз к краю. Прислушался, подождал немного и решительно посмотрел. Пусто, даже мышка не попала. Там в овраге, за спиной, пели птицы, а вокруг него дышала и шептала трава. А яма показалась ему какой-то скромной, тихой, по-своему красивой: ровные стены, и аккуратная такая лесенка, и земляной ровный пол.

Ему не хотелось подниматься. В детстве он тоже иногда лежал в траве, разглядывал листья и камешки, и представлял себя крохотным человечком, Гулливером в неизвестной стране великанов. Вот он в лесу, и эти травы – не травы, а стволы деревьев, и сейчас навстречу выползет блестящее животное на тонких угловатых лапах и с антеннами в голове - муравей. А в небе кружит золотая стрекоза с прозрачными крыльями. Но стрекоз и муравьёв нет, и крошка пробирается вперёд, перелезает через корни и брёвна, а благоухание от трав и цветов такое, что можно задохнуться. Высоко над головой качаются сиреневые шары клевера и зонты ромашек, стволы которых совсем даже не гладкие под рукой малютки, но покрыты ворсом. И вот он доходит до пропасти, до глубокой трещины в земле, и звук его шагов спугивает зелёное, сверкающее на солнце

чудовище, громадную ящерицу, которая с шумом от осыпающегося песка ныряет в эту пропасть. Сколько же здесь неизведанного, интересного, а большие тяжёлые люди давят этот мир ногами.

Началась непроизводительная работа: Николай нарастил верёвку для подъёма ведра, и подобрал в ручье продолговатый большой камень. Подходящий искал с полчаса, и увидел его, уже отчаявшись, когда собирался уходить. Еле вкатил его в гору и, перекатом до ямы, спихнул вниз. Теперь он нагружал всего две трети ведра, затем поднимал груз с помощью сделанного Нурдином подъёмника, становился коленями на опустившуюся к его ногам верёвку и конец её в четыре раза обматывал вокруг камня. А вот если бы пришлось подниматься по лестнице с тем же ведром, пусть и недогруженным - было бы намного труднее. Итак, обкрутив конец верёвки вокруг камня, он взбирался по лесенке вверх, снимал ведро с крючка и опрокидывал его на кучу. И снова: вниз-вверх. «Робинзона Крузо», если вдруг вздумаю перечитать, – пришла ему мысль, – вот уж да-а, другими глазами...» Ему немного придавало силы то, что до глубины двух метров оставалось пол штыка, ну штык, но не больше. Более серьёзной проблемой виделись деревяшки: надо будет как-то закрепить бруски в углах, напилить по размерам доски и приколотить их к брускам. У Нурдина деревянные, пила, молоток, всякие там гвозди с шурупами в руках играли бы и летали. А он как должно со всем этим, конечно, не справится, но хотя бы всё приготовить для какого-нибудь умелого человека он считал себя обязанным.

Часы он оставил в бытовке, и до сумерек проработал, ни разу не вспомнив о еде и времени. Яму докопал, бруски по нужной длине отпилил, доски разложил на четыре маленьких штабелька. Растянул над ямой и закрепил как можно надёжней сетку, вбив через ячейки в землю колышки, по периметру. Вернувшись к себе, костра разводить не стал. Доел огурцы, попытался растворить сахар в холодной воде, но не получилось, и он рассосал во рту два куска. Идти спать в вагончик после дневного сна не хотелось. Всё же открыл его, но понял, что находиться в нём невозможно: «Ну куда сейчас? Натуральная баня!» Тогда он распахнул окошко, засунул щепку под петлю, чтобы оно не захлопнулось, и то же самое сделал с дверью. В надежде, что, когда придёт ночевать, вагончик проветрится и остынет. А комары всюду будут жрать, подумал он, что внутри, что снаружи.

4. Свобода.

«Хорошо ещё, что Нурдин в больнице, - вспомнил Коля вчерашний день. - Наверно, уже в гипсе. Может быть, когда к нему поедут, ко мне заглянут? Тогда бы вместе всё и доделали. А нет, пойду в отряд, еда кончается. Закреплю сетку надёжней. Надо предупредительный знак. Из чего только? Ещё спрятать всё в бытовку! Башка рассеянная, забуду. Вот, постучать, - Коля постучал пальцем по лбу, - теперь не забуду. Придётся идти. Нет, не могут не заехать! Точно заедут!» Он обошёл своё жилище, прихлопнул на щеке комара, который успел насосаться крови, почувствовал, что в ближайшие два-три часа не заснёт, и решил погулять в поле. Ночь стояла тихая и звёздная.

«Надо загадать про завтра», - обрадовался Николай. У него был испытанный способ заглядывать в ближайшее будущее. Хотя он звал свою приметку гаданием, но это было просто маленькое личное суеверие, очень удобное, потому что если звёздное небо в ночь его «гадания» не затягивалось невидимыми облаками, то Николай всегда имел возможность быстро получить ответ и именно такой, какой ему был угоден. Правильное действие и доброе знамение заключалось в том, чтобы запрокинуть голову и сразу увидеть Большую Медведицу. Заметить её с первого взгляда, почти не ища, не бродя глазами по звёздному полю.

Суеверие вскоре превратилось в ритуал. Перед каждым школьным выпускным экзаменом, и перед каждым приёмным в институт он поздно вечером выходил на пустырь за домом, собирался с мыслями, точнее, старался сосредоточиться на своём желании, и вскидывал голову. Ура! Медведица на месте, значит, всё будет хорошо. Он и не желал обращаться как-то лично к этому большому ковшу, и не думал он о существовании неизвестного небесного исполнителя его просьб. Просто удачное совпадение, и почти всё. Но за этим лёгким «почти» чувствовалось ему смутно таинственное присутствие, участие в его завтрашнем дне какой-то невидимой силы. Если бы он стал последовательно думать дальше, то, может быть, и представил бы себе нечто определённое, некую разумную волю, которая иной раз занавешивает небо облачной пеленой, а в другой – убирает этот занавес, и тем самым или оставляет Колю без поддержки, или же вдохновляет и укрепляет. В непогоду он и не шёл, понятное дело, к своему талисману. А иногда и в ясную ночь ему случалось потратить некоторое время на поиск Медведицы, но и такое промедление он истолковывал в свою пользу: мол, завтра у меня поначалу может пойти не гладко, но закончится оно всё равно успехом.

А привычка, или даже не привычка, а навык, и вообще-то не навык, а потребность искать для себя опоры в небе, постепенно привилась ему. Между тем к приметам Николай всегда относился с иронией, и часто смеялся над ними, но об этом своём обычае никому не рассказывал и берёг его, как любимую игрушку, с которой тяжело расстаться, потому что слишком много с ней связано. Нет, не воспоминаний о конкретных успехах. Она стала задушевым знаком, ключом к отрезку жизни, к юности с её надеждами и мечтами. Он не сомневался, что и с этой слабостью когда-то попрощается, вырастет из неё, и даже уже чувствовал, что начинает вырастать, потому что целый год не «гадал» по Медведице, но в эту ночь, скользнув взглядом по небу, густо усеянному звёздами, он по живому ещё обыкновению повернул голову в ту сторону, где должна была светиться неярким контуром его благодетельница. Она оказалась на месте. Что-то в ней, однако, показалось ему непривычным. Да, внутри ковша поблёскивали маленькие звёздочки.

И он вдруг увидел всё небо целиком. «Вот это да!» - сказал он себе. Других слов у него не нашлось. За свою двадцатилетнюю жизнь он ещё ни разу не видел такого пылающего неба. Он и представить себе не мог, что такое бывает.

И в следующее мгновение ему стало необъяснимо страшно, ему показалось, что сейчас может наступить его последняя минута: ещё немного, и он пропадёт, утонет в горящем океане, который своей невероятной тяжестью нависает над ним.

Но чувство это исчезло так же неожиданно, как возникло: «Что я, не вижу, что небо совсем не желает меня уничтожить? В самом деле! Вот оно, такое огромное, а как бережно склоняется ко мне. Просто оно развернулось всей красотой. Это надо видеть! Сейчас бы всех позвать сюда, весь отряд!» И он начал бесстрашно смотреть в небо. Оно было так густо усеяно звёздами, что в нём, с первого взгляда, не оставалось ничего тёмного, никаких теней и промежутков между огнями. Он продолжал всматриваться, и вскоре заметил, что есть, всё же, прожилки, тонкие щёлки. Но не подобные земным трещинам, а как будто грани звёзд, переходы от огня к огню.

«Вот я стою под этими звёздами! – ликовал Коля. - Это какой-то невиданный праздник. Огни, лучи, как будто они все в эту ночь вдруг открылись по-настоящему. Такое бесчисленное множество звёзд, одна ярче другой, и свечение вокруг каждой, и всё во всех перетекает, сверкает, и одна словно спешит радостно пересветить другую, чтобы я её увидел. Они все живут, дышат, неподвижно двигаются, будто качаются на тёмно-синих волнах. А я здесь совершенно один, и нет ветра, только степь шепчет. Целое громадное небо. Оно же одно! То есть это – не разные миры, всякие созвездия и галактики. Это единое небо. Я это вижу. Надо мной идёт парад немыслимой красоты. А зачем?».

Николай задумался. А правда, для чего эта бесконечная жизнь позволяет себя видеть? Время от времени даёт себя наблюдать? Или не по временам, а всегда позволяет? И даже хочет, а мы к этому чаще всего не готовы?

«Мы этого не видим, - удивлялся он. - Нет, видим, но так, как видим привычный ландшафт. Городской или сельский. Местность у моря, пастбище в горах, пристанька на берегу космоса. Нас это не поражает. Но как же так? Ведь есть, от чего замереть, забыть, куда до этого шёл и не сдвинуться с места!»

У Коли затекла шея от долгого стояния с задранной головой. Он опустил лицо к тёмной траве, но перед глазами у него стояли звёзды. Ум его продолжал искать ответов на какие-то вопросы.

Он думал: «А вот подо мной земля, и я упираюсь в неё ногами. Она сейчас отдыхает. Скоро она проснётся. Стряхнёт сон в тот миг, когда появится на востоке нам назначенная звезда, солнце. Потом солнце уйдёт, и воздух снова станет прозрачным. И тёмно-синий свет вселенной всё наполнит. Солнце нам дано для труда, а ночь для перерыва в труде, отдыха, и ещё для того, чтобы встать перед великим миром и понять, зачем мы трудимся. Собрать, как собирают в руке, зажать в голове как в кулаке все мысли и чувства».

Коля думал дальше. Он теперь сидел на земле, и снова смотрел на звёзды. Ему жалко было пропустить такую яркую ночь. Пусть шея вывернется – ничего. Потом встанет на место. А такого неба можно больше не увидеть!

На всех людях, представлялось ему, на их уме, на их воле лежит пелена. И человечество как птица в клетке: накинули платок на клетку, и птица замолчала и заснула, потому что наступила тьма. «И получается, - рассуждал Коля, - что тьмою для нас является солнечный свет. Накинут этот свет на мир, и мы забываем, где живём и что высится над нами, и что там уходит в бездну под нами. А вот только снимается световая завеса, и тут же ум, вся душа просыпается и видит: кругами, от той точки, где её застигла прозрачность – расходятся миры,

мириады миров, несметное множество звёзд, которые горят то ярче, то бледнее, но совсем не гаснут, и не сталкиваются одна с другой, словно все вместе и каждая в отдельности знают своё место. Дышат, волнуются, переливаются в глубоком синем океане. И вот в этой беспредельности робко так, осторожно шевелится моя мысль, и чем дальше в своём порыве она уносится от земли, тем значительней я уменьшаюсь. То есть? Ну да: вообразить на мгновение, что я в центре бесконечности! Так я же абсолютное ничто: чем шире пространство, тем меньше я в объёме и в способности это как-то понять. Какой там обозреть! Одна триллионная микрограмма, вообще отрицательная величина, бытие в минусе. Материально меня нет, воспоминание об испарине. Тогда кто же это понимает, кто говорит сейчас? Кто-то обо всём этом рассуждает, кто-то чего-то такое видит вдали, в ночном небе? Кто-то же способен восхищаться, душой подниматься в космос? И это тоже я. Мои глаза и мысли, и восторг, и благодарность. В моих глазах отражается эта синяя ночь. Я вбираю её в себя, чтобы сразу же и отдать с признательностью. Я получил дар и признаю, что он прекрасен, добр. И я его даже и не смог бы уволочь в свой уголок, но дарю в ответ, благо-дарю.

Воображением я огромен, гигант какой-то, а телом неразличим, меньше микроба, потому что живу в беспредельности. Моя мысль, как и моя благодарность, и моя любовь, и восторг – это всё просто-напросто настоящая жизнь. Потому что я – дух. И каждый человек – дух. Знают ли звёзды, что я на них смотрю, впитываю их свет? Если и знают, то не они. Они же всё-таки небесные тела. И вот я не телом общаюсь с телами, а невесомой мыслью с подобной. Нет, с бесконечно превосходящей мою. И она мне отвечает, или, вернее, она первая со мной заговорила - незримая и великая мысль звёздного неба. Мысль с мыслью, дух с духом!»

Николай вскочил и от волнения быстро пошёл в темноту, но пройдя шагов сто, остановился и опять поднял голову: «Вот небо - распахнутая книга, а строки в ней не слева направо, и не справа налево, и не сверху вниз, как в земных алфавитах, а от поверхности вдаль. Они постепенно, по мере размышления, раскрываются. Зовут следовать за ними. Как будто я альпинист, восходящий на вершину. И вот я покорил её. Стою на головокругительной высоте, впереди, в чистом хрустальном воздухе, другие вершины и на них белые шапки снега; горные хребты и на их рёбрах - снежные хвосты; тёмные ущелья; тени от плывущих облаков скользят по склонам. Внизу зелёные луга. Я смотрю на эту исполинскую красоту и внезапно чувствую сердце в груди, то есть как оно бьётся: светлые грани гор и тёмные провалы складываются в одно громадное слово – Николай. Ни-ко-лай – как будто эхо гремит в горах. Раскаты грома. Но никто их не слышит, кроме меня».

И как же это велико, изумлялся Коля, и непостижимо - все светила в небе согласны между собой и послушны, будто слова в книге! «Ну конечно, - улыбался он, - по-другому и быть не может: что-то объединяющее и покоряющее проникает в них и собирает, выстраивает в узоры и мерцающие пути. Всевидящая сила в бесчисленных солнцах. И все безмерные галактики она видит, и меня - ничтожную песчинку – тоже знает. Я уверен, что знает. Если бы не знала, то не смотрела. Зачем ей на меня так смотреть, миллионами глаз? Ждёт, что заговорю с

ней, о чём-то спрошу, или попрошу? Я стою перед этой могучей силой и знаю, что на самом деле я хочу только одного: мне бы понять всей душой, что Она, эта Заботливая Сила, или этот Живой Добрый Смысл, который меня нашёл, и осторожно позвал, и сюда привёл - что Он точно есть. Умный воздух. Он растекается всюду, затекает во всякую впадинку, наполняет всё, проникает даже до моей последней мысли. И если это так, а оно так и есть, то достаточно для вечного счастья этого одного! Он есть, и Он всё может, и всё знает - всё, что каждому человеку нужно».

Звёзды вскоре начали бледнеть и как будто отдаляться. Потом чуть засветилась полоска неба на востоке. Тогда он пошёл в вагончик. Закрыв дверь на шпингалет, в окне оставил щёлку, и заснул глубоко, едва голова коснулась подушки. Коле снилось, что он спит в красивом доме, залитом солнцем. Вокруг дома тенистый сад, и в нём громко поют птицы. И кто-то ходит среди деревьев и во что-то стучит. Он перевернулся на другой бок, и тут совсем рядом раздался голос командира:

- Николай, где ты?

Коля мгновенно проснулся, сел в своей промятой раскладушке и от неожиданности закричал:

- Я? Я здесь!

Священник Павел Карташев.